

**Н. М. Карамзин**

## **ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА (1792)**

Я хотел при новом издании многое переменить в сих «Письмах», и... не переменял почти ничего. Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, — и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи — соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон; что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых

креслах. — А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию».

1793

Тверь, 18 мая 1789

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сиживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставляло меня восходящее солнце, на готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, — одним словом, все, что

попало мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной.

С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особенно в таком случае.

Но вы мне всегда любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! — Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милый Петрв. провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: *прости!* Колокольчик зазвенел, лошади помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые? — Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту

минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, *выплакать сердце свое*. Там-то все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде. — Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. — Простите! Дай бог вам утешений. — Помните друга, но без всякого горестного чувства!

С.-Петербург, 26 мая 1789

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу.

В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д\*, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный,

любезный человек<sup>1</sup> открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчастлив!.. «Состояние мое совсем твоему противоположно, — сказал он со вздохом, — главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, — сказал я ему, — чтобы ты видел перед собою

человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаясь другого и жалею». — Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить векселя. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из московского, а не из петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть, не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха — я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную — и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

---

<sup>1</sup> Его уже нет в здешнем свете.

Рига, 31 мая 1789

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в «Hôtel de Pétersbourg». Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным

дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга *на перекладных* и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала и грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. «Спрячь её в карман!» — сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренне проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как

скоро первые уже не новы, — которое настроивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает — и в самый тот миг, как сердце мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: «У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам — вот наш дом — батюшка и матушка приказали вас просить к себе». — «Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр». — «К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйте!» Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей — разумеется,

для того, чтобы с ним идти. Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого, этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии,

сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. «Нет, еще постойте!» — сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. «Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его». — «Бог с вами!» — примолвил хозяин, пожав мою руку, — бог с вами!» Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. — Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера!<sup>1</sup> Простился со всею любезною семьей, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкой добрых людей!

---

Почта от Нарвы до Риги называется немецкою, для того что комиссары на станциях немцы. Почтовые дома везде одинакие — низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде, как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: [г. 3.](#),



---

<sup>1</sup> Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо — он был доволен — я еще больше!

едуший из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настрадал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не приметил никакой розницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил, что они все немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен; но видя их непрворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и

мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского или симбирского.

Сии бедные люди, *работающие господам со страхом и трепетом* во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом — праздновали троицу.

Мужики и господа лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении апостола Петра. Проповеди говорятся на их языке; однако ж пасторы все знают по-немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. — Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно

на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлевом. — Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или, собственно, так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой всё на немецкую статью, а в другой всё на русскую. Тут была прежде наша граница — о, Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. *Что город, то норы; что деревня, то обычай.* — Здесь-то живет брат несчастного Л\*<sup>1</sup>. Он главный пастор, всеми любим и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. «Ах, государь мой! — сказал он мне, — самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л\* и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит *утренней зари великого духа*? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. *Глубокая чувствительность*, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиrom, погубила его. Другие обстоятельства, и Л\* бессмертен!» —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, — много лавок, много народа — река

---

<sup>1</sup>Ленца, немецкого автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.

покрыта кораблями и судами разных наций — биржа полна. Везде слышишь немецкий язык — где-где русский, — и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки — но много каменного строения, и есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в правление и в благочиние и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе с одним французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. — Илью отправлю отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

Курляндская корчма, 1 июня 1789

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет; то есть за одне сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово, и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею — он к вам поехал, милые! — Начало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием,

хотя предметы сами по себе были весьма обыкновении. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки,

милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! «Вот первый .иностранный город»,— думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе. Тотчас окружили нас жида с разными безделками. Один предлагал трубку, другой — старый лютеранский молитвенник и Готшедову «Грамматику», третий — зрительное стекло, и каждый хотел продать товар свой таким добрым господам за самую сходную цену. Француженка, едущая с парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, а мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу — видели, как молодой офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносая немка в чепчике бранилась с пьяным мужем своим, сапожником!

Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом и после обеда имели время выпить кофе, чаю и поговорить довольно. Я узнал от спутника своего, что он родом италиянец, но в самых молодых летах оставил свое отечество и торгует в Париже; много путешествовал и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. — За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались немецкие извозчики из Либавы и Пруссии. Странные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и висящие на них погрешки производят несносный для ушей шум.

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме. Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постель для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкой зеленою травою и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один московский вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год

буду наслаждаться приятностями вечера в курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа; боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не беспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. — Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два немца, которые в особой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? «Нет», — отвечали они. «А когда так, государи мои, — сказал я, — то вы не можете судить о русских;

побывав только в пограничном городе». Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор



продолжался. Один из них сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии и скопил там много полезных знаний. «Кто хочет узнать свет, — говорил он, — тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!» — «Хорош гусь!» — думал я — и пожелал им доброго вечера.

Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Малекбранша и Лейбница, и Юма и Боннета, — Канта, которого иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, то есть все сокрушающий Кант. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, — и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин

человеческой памяти; но это у него, как немцы говорят, *дело постороннее*. Потом я, не без скачка, обратил разговор на

природу и нравственность человека; и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это *все* не есть *все*. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственным*, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о *нравственном законе*: назовем его совестью, чувством добра и зла — но они *есть*. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно. — Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда

бы мы, так сказать, *глазами увидели ее?* Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: *авось там будет лучше!* — Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума, все для чего-нибудь, и все благо творящего. Что? Как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное». — Почтенный муж! Прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои! Он знает Лафатера и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, — говорит он, — но, имея чрезмерно живое воображение, часто

ослепляется мечтами, верит магнетизму и проч.» — Коснулись до его неприятелей. «Вы их узнаете, — сказал он, — и увидите, что они все добрые люди».

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: «*Kritik der praktischen Vernunft*» и «*Metaphysik der Sitten*»<sup>1</sup> — и сию записку буду хранить как священный памятник.

Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; потом мы с ним расстались.

Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около трех часов. — Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме... его метафизики.

Здесьняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. «Где вы, — думал я, — где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего — подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, — чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов». — Я мечтал около часа, прислонясь к столбу. — На стене изображена маркграфова беременная супруга, которая, забывая свое состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! — Там же видно множество разноцветных знамен, трофеев маркграфовых.

---

<sup>1</sup> «Критика практического разума» и «Метафизика нравов» (нем.).  
— *Ред.*

Француз, наемный лакей, провожавший меня, уверял, что оттуда есть подземный ход за город, в старую церковь, до которой будет около двух миль, и показывал мне маленькую дверь с лестницею, которая ведет под землю. Правда ли это или нет, не знаю: но знаю то, что в средние века на всякий случай прокапывали такие ходы, чтобы сохранять богатство и жизнь от руки сильного.

## **А. С. Пушкин**

### **Капитанская дочка (1836)**

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и

побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы, верно, не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь.»

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы



о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны. Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрасала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не любопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню... Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий

известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от \*\*\* находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпитаф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

*19 окт. 1836.*

*Издатель.*

Лев Толстой

## Война и мир

### Том первый

#### Часть первая

##### I

— Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des arpanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites <sup>1</sup>. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur <sup>2</sup>, садитесь и рассказывайте. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был *grippe*, как она говорила (*grippe* был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех: «Si vous n'avez rien de mieux à faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer» <sup>3</sup>. — Dieu, quelle

virulente sortie!<sup>4</sup> — отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица. Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми, тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состаревшемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване. — Avant tout dites-moi, comment vous allez, chère amie?<sup>5</sup> Успокойте меня, — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. — Как можно быть здоровой... когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? — сказала Анна Павловна. — Вы весь вечер у меня, надеюсь? — А праздник английского посланника? Нынче среда. Мне надо показаться там, — сказал князь. — Дочь заедет за мной и повезет меня. — Я думала, что нынешний праздник отменен, Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides<sup>6</sup>. — Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, — сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили. — Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout<sup>7</sup>. — Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. — Qu'a-t-on décidé? On a décidé que

Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres<sup>8</sup>. Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась. — Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить

Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могли понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. *Cette fameuse neutralité prussienne, se n'est qu'un piège*<sup>9</sup>. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. — Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью. — Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю? — Сейчас. *А propos*, — прибавила она, опять успокоиваясь, — нынче у меня два очень интересные человека, *le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans*<sup>10</sup>, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом *l'abbé Morio*; <sup>11</sup> вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете? — А! Я очень рад буду, — сказал князь. — Скажите, — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения, — правда, что *l'impératrice-mère*<sup>12</sup> желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? *C'est un pauvre sire, se baron, à se qu'il paraît*<sup>13</sup>. — Князь Василий желал

определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону. Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице. — *Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa sur*<sup>14</sup>, — только сказала она грустным, сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе *beaucoup d'estime*<sup>15</sup>, и опять взгляд ее подернулся грустью. Князь равнодушно замолк, Анна Павловна, с свойственной ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкнуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его. — *Mais à propos de votre famille,* — сказала она, — *знаете ли, что ваша дочь, с тех пор как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle comme le jour*<sup>16</sup>. Князь наклонился в знак уважения и признательности. — Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам дала судьба таких двух



славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, — вставила она безапелляционно, приподняв брови), — таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стоите. И она улыбнулась своею восторженной улыбкой. — *Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité* <sup>17</sup>, — сказал князь. — Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас... Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился. — Что ж мне делать? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли *des imbéciles* <sup>18</sup>. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатолий — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное. — И зачем рождаются дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза. — *Je suis votre верный раб, et à vous seule je puis l'avouer. Мои дети — ce sont les entraves de mon existence* <sup>19</sup>. Это мой крест. Я так себе объясняю. *Que voulez-vous?..* <sup>20</sup> — Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе. Анна Павловна задумалась. — Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына

Анатolia. Говорят, — сказала она, — что старые девицы ont la manie des mariages<sup>21</sup>. Я еще не чувствую за собою этой слабости, но у меня есть одна petite personne, которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse<sup>22</sup> Болконская. — Князь Василий не отвечал, хотя с свойственной светским людям быстротой соображения и памятью движением головы показал, что он принял к соображению это сведенье. — Нет, вы знаете ли, что этот Анатолий мне стоит сорок тысяч в год, — сказал он, видимо не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. — Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père<sup>23</sup>. Она богата, ваша княжна? — Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse comme les pierres<sup>24</sup>. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня. — Ecoutez, chère Annette<sup>25</sup>, — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. — Arrangez-moi cette affaire et je suis votre вернейший раб à tout jamais (рап — comme mon староста m'écrit des<sup>26</sup> донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно. И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону. — Attendez<sup>27</sup>,

— сказала Анна Павловна, соображая. — Я нынче же поговорю Lise (la femme du jeune Болконский)<sup>28</sup>. И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille<sup>29</sup>.

1

Ну, князь, Генуя и Лукка — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю,

если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите (*франц.*).

(В дальнейшем переводы с французского не оговариваются. Здесь и далее все переводы, кроме специально оговоренных, принадлежат Л. Н. Толстому. — *Ред.*)

2

Я вижу, что я вас пугаю.

3Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. *Анна Шерер.*

4 Господи, какое горячее нападение

5

Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?

6

Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

[7](#)

Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете.

[8](#)

Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.

[9](#)

Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня.

[10](#)

Кстати, — виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси чрез Роганов.

[11](#)

аббат Морио.

[12](#)

вдовствующая императрица.

[13](#)

Барон этот ничтожное существо, как кажется.

[14](#)

Барон Функе рекомендован императрице-матери ее сестрою.

[15](#)

много уважения.

[16](#)

Кстати, о вашем семействе... составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день.

[17](#)

Что делать! Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки  
родительской любви.

[18](#)

дурни.

[19](#)

Я вас... и вам одним могу признаться. Мои дети — обуза моего  
существования.

[20](#)

Что делать?..

[21](#)

имеют манию женить.

[22](#)

девушка... наша родственница, княжна.

[23](#)

Вот выгода быть отцом.

[24](#)

Бедняжка несчастлива, как камни.

[25](#)

Послушайте, милая Анет.

[26](#)

Устройте мне это дело, и я навсегда ваш... как мой староста мне  
пишет.

[27](#)

Постойте.

28

Лизе (жене Болконского).

29

Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы.

**Андрей Белый**

**Петербург**

**ПРОЛОГ**

Ваши превосходительства, высокородия, благородия,  
граждане!

.....

Что есть Русская Империя наша?

Русская Империя наша есть географическое единство, что  
значит: часть

известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых -- великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых -- грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает... Но -- прочая, прочая, прочая.

Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: -- из первопрестольного града и матери градов русских.

Град первопрестольный -- Москва; и мать градов русских есть Киев.

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что -- то же) подлинно принадлежит Российской Империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия<sup>2</sup>. И о нем распространяться не будем.

Распространимся более о Петербурге: есть -- Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что -- то же). На основании тех же суждений



Невский Проспект есть петербургский Проспект.

Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из

пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его;

нумерация идет в порядке домов -- и поиски нужного дома весьма облегчаются.

Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть:

проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его

боковые границы дома суть -- гм... да: ...для публики. Невский Проспект по

вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он --

европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто

проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

8

Потому что Невский Проспект -- прямолинейный проспект.

Невский Проспект -- немаловажный проспект в сем не русском --столичном -- граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду -- существование полуторамиллионного московского населения -- то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.

Если же Петербург не столица, то -- нет Петербурга. Это только кажется, что он существует <sup>3</sup>.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается -- на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет

он энергично о том, что он -- есть: оттуда, из этой вот точки,  
несется  
потокотом рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой  
точки стремительно  
циркуляр.

## **ГЛАВА ПЕРВАЯ,**

*в которой повествуется  
об одной достойной особе,  
ее умственных играх  
и эфемерности бытия*

Была ужасная пора  
О ней свежо воспоминанье.  
О ней, друзья мои, для вас  
Начну свое повествованье,-  
Печален будет мой рассказ.  
А Пушкин

**АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ АБЛЕУХОВ**

Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода:  
он имел своим  
предком Адама. И это не главное: несравненно важнее здесь то,  
что благородно  
рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель семитских,  
хесситских и  
краснокожих народностей <sup>2</sup>.

Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.

Эти предки (так кажется) проживали в киргиз-кайсацкой  
орде  
<sup>3</sup>, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны<sup>4</sup>  
доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай,  
прапрадед  
сенатора<sup>5</sup>, получивший при христианском крещении имя Андрея  
и  
прозвище Ухова. Так о сем выходе из недр монгольского  
племени  
распространяется Гербовник Российской Империи<sup>6</sup>. Для  
краткости  
после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто.

Этот прапрадед, как говорят, оказался истоком рода.

.....

Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного

стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.

-- "Сам-то, вишь, встал..."

-- "Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофию..."

-- "Утром почтарь говорил, будто барину -- письмецо из Гишпании: с гишпанскою маркою".

10

-- "Я вам вот что замечу: меньше бы вы в письма-то совали свой нос..."

-- "Стало быть: Анна Петровна..."

-- "Ну и -- стало быть..."

-- "Да я, так себе... Я -- что: ничего..."

Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошептал в кабинет.

.....

Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича.

Аполлон Аполлонович принял намерение: придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил...

пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости, прежде чем

сообразить, что в руках у него пресс-папье, а не карандаш.

Рассеянность проистекала оттого, что в сей миг его осенила глубокая

дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный

ход (Аполлон Аполлонович спешил в Учреждение). В "Дневнике", долженствующем

появиться в год его смерти в повременных изданиях, стало страничкой больше.

Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович записывал быстро:

записав этот ход, он подумал: "Пора и на службу". И прошел в столовую

откушивать кофей свой.

Предварительно с какою-то неприятной настойчивостью стал допрашивать он

камердинера старика:

-- "Николай Аполлонович встал?"

-- "Никак нет: еще не вставали..."

Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:

-- "Ээ... скажите: когда же -- скажите -- Николай Аполлонович, так

сказать..."

-- "Да встают они поздновато-с..."

-- "Ну, как поздновато?"

И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофейю, посмотрев на часы.

Было ровно половина десятого.

В десять часов он, старик, уезжал в Учреждение. Николай Аполлонович,

юноша, поднимался с постели -- через Два часа после. Каждое утро сенатор

осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился.

Николай Аполлонович был сенаторский сын.

**Борис Пильняк**

**ГОЛЫЙ ГОД**

**Роман**

### ВСТУПЛЕНИЕ

В книге «Бытие разумное, или нравственное воззрение на достоинство жизни» есть фраза:

«Каждая минута клянется судьбе в сохранении глубокого молчания о жребии нашем, даже до того времени, когда она с течением жизни нашей соединяется; и тогда, когда будущее молчит о судьбине нашей, всякая проходящая минута вечностью начинаться может».



глухие

лет России,

ничего.

I

## ОРДЫНИН ГОРОД

На кремлевских городских воротах надписано было (теперь уничтожено):

Спаси, Господи,  
Град сей и люди твоя  
И благослови  
В ход воврата сии.

И вот выписка из постановления Ордынинского Сиротского  
Суда:

Рожденные в года

Пути не помнят своего.

Мы, дети страшных

Забыть не в силах

А. Б л о к.

«1794 года Генваря 7-го дня Понедельник в Присутствии Ордынинского Городского Сиротского Суда — господа присутствующие прибыли в двенадцатом часу пополудни:

Дементий Ратчин, градский голова.

Ратманы: Семен Тулинов, Степан Ильин, Степан Зябров, градский староста.

Слушали — — —

Постановили: Градского голову Дементия Ратчина, мужа именита и честна, благодарить и чествовать.

Расписались — — —

Из Присутствия вышли во втором часу пополудни и проследовали в Собор для молебствия».

Постановление это было написано ровно за сто лет до рождения Доната, Донат же и нашел его, когда громил Ордынинский Архив. Было это постановление написано на синей бумаге, гусиным пером, с затейливыми завитушками.

Двести лет числил за собой именитый купеческий род Ратчиных, раньше держали соляные откупа, торговали мукою и гуртами,— двести лет (прадед, дед, отец, сын, внук, правнук) на одном месте, в соляных рядах (теперь уничтожены), на торговой площади (теперь Красная),— каждый день стояли за прилавком, щелкали на счетах, играли в шашки, пили из чайника чай (с тем,

чтобы осьмерками расплескивать по полу), принимали покупателей, шугали приказчиков.

Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия, отец Доната, сорок лет тому назад, кудрявым юношей стал за прилавок,— с тех пор много ушло: иссох, полысел, надел очки, стал ходить с тростью, всегда в ватном сюртуке и в ватной фуражке. Родился здесь же, в Зарядьи, в своем двухэтажном доме за воротами с волкодавами, сюда ввел жену, отсюда вынес гроб отца, здесь правил.

В Кремле были казенные дома и церкви, под Кремлем, под обрывом, протекала река Волога, за Вологой лежали луга, Реденев монастырь, Ямская слобода (железная дорога в те времена проходила в ста верстах). Весь день и всю ночь, каждые пять минут били часы в соборе,— дон, дон, дон! — И первыми просыпались в Кремле гуси (свиней в Кремле не водилось, ибо улицы были обулыжены). Вскоре за гусями появлялись кабацкие ярыги, нищие, юродивые. Шли в Управление будочники со столами на головах (издал по губернии губернатор распоряжение, чтобы делали надзиратели ночные обходы и расписывались в книгах, а книги приказал припечатать к столам,— надзиратели и расписывались, только не ночью, а утром, и не в будках, а в канцеляриях, куда приносили им столы). Ночью же ходить по городу позволяли неохотно, и, если спросонья будочник спрашивал:

— Кто идет? —

надо было всегда отвечать:

— Обыватель!

В канцеляриях и участках, как и подобает, били людей, особенно ярыг, жестоко и совершенно, специалистом был околоточный Бабочкин.

Кабацкие ярыги собирались у казенки спозаранку, садились на травку и терпеливо ожидали открытия. Проходили, осенясь крестами, купцы. Пробегал с реки с удочками страстный рыболов отец благочинный Левкоев, спешил с ключами в ряды, открывать епархиальную свою торговлю: благочинный Левкоев человеком был уважаемым, и единственным пороком его было то, что по летам из карманов его ползли черви, результат рыболовной его страсти (об этом даже доносил епископу поэт доносчик Варыгин). Ярыга Огонек-классик кричал отцу:

— Всемиловитейший господин!.. Понимаете?..—

Но батюшка спеша только отмахивался.

А сейчас же за батюшкой выходил из своей калитки, в кителе, с зонтом и в галошах, учитель Бланманжов, следовал за батюшкой в епархиальную торговлю попить чайку и заняться чёской. Огонек (светлое пятно) уверенно шел к нему и говорил:

— Великодушный господин! Vous comprenez? Вам говорит Огонек-классик...

И Бланманжов давал семитку. Бланманжов был знаменит географией и женой, которая в церковь ходила в кокошнике,

дома — голая, а летом и осенью фрукты из сада своего продавала в окошко, в одной рубашке.

Приходил к казенке боец Трусков, пил пару мерзавцев. Приходили, проходили на базар торговцы, разносчики. Ярыги покупали собачьей радости и разбрелись по делам. Заезжали извозчики на своих «калибрах», спросонья говорили:

— Пожа!.. пожа!..

А над городом подымалось солнце, всегда прекрасное, всегда необыкновенное. Над землею, над городом, проходили весны, осени и зимы, всегда прекрасные, всегда необыкновенные.

Веснами старухи с малолетками ходили к Николе-Радованцу, к Казанской на богомолье, слушали жаворонков, тосковали об ушедшем. Осенью мальчишки пускали змеев с трещотками. Осенями, зимним мясоедом, после Пасхи работали свахи, сводили женихов с невестами, купцов с солдатками, вдовами и «новенькими»,— на смотринах почтовые чиновники разговаривали с невестами о литературе и географии; невеста говорила, что она предпочитает поэта Лажечникова, а жених предпочитал писателя Надсона, разговор иссякал, и жених спрашивал про географию; невеста говорила, что она была у Николы-Радованца, а жених сообщал про Варшаву и Любань, где отбывал воинскую повинность. На Николу вешнего, на Петров день, на масленую были в городе ярмарки, приезжали шарманщики, фокусники, акробаты, строились балаганы, артисты сами разносили афиши, и после ярмарок купцы ходили

тайком к доктору Елеазарычу. Зимой по субботам ходили к водопойщику в баню. Водопойщик устраивал деревянный навес до самой реки, до проруби, и купцы, напарившись крепко, летали стремительно нагишом до проруби окунуться разок-другой. По воскресеньям же зимним были кулачные бои, бились с ямскими и реденевскими, начинали с мальчишек, которые кричали: — «Давай! давай!..» — кончали стариками, — но это не мешало вечером катить купцам в Ямскую к цыганам, веселиться и размножать крупичатых цыганят, а на обратном пути выворачивать фонарные столбы. Под Рождество до звезды не ели, на первый день славили Христа и рассказывали рацеи, в Крещенский вечер на всех дверях малевали мелом кресты.

События в городе бывали редки, и если случались *комеражи* вроде следующего:

Мишка Цвелев — слесарев — с акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с нею возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-кривой и — давай в окна камнями садить. Цвелев — слесарь на него с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные, — он на пожарных с топором; пожарные — теку. Один околоточный Бабочкин справился: Мишку потом три дня драли, —

— если случались такие комеражи, то весь город полгода об этом говорил. Раз в два года убегали из тюрьмы арестанты, тогда ловили их всем городом.

В соляных рядах на торговой площади около епархиальной лавки стоял рундук — единственная книжная торговля — под вывеской:

**ПРОДАЖА И ПОКУПКА**

учебников, чернилъ, пѣрьевъ

и ручекъ.

и ПРОДчихъ періодическихъ

писчебумажныхъ изданій

**А. В. ВАРЫГИНА.**

**Михаил Шолохов. Тихий Дон (книги 1,2)**

---

Изд. "Молодая гвардия", М., 1980

OCR & spellcheck by HarryFan, 21 July 2000

---

Не сохами-то славная землюшка наша распахана...  
Распахана наша землюшка лошадиными  
копытами,

А засеяна славная землюшка казацкими головами,  
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,  
Цветет наш батюшка тихий Дон сиротами,  
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,  
материнскими слезами.

Ой ты, наш батюшка тихий Дон!  
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?  
Ах, как мне, тихому Дону, не мутну течи!  
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,  
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит,

Старинные казачьи песни



**\* КНИГА ПЕРВАЯ \***

**\* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ \***

**I**

Мелеховский двор - на самом краю хутора. Воротца со  
скотиньего база  
ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж  
замшелых в  
прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь  
ракушек, серая  
изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше -  
перекипающее под

ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом  
гуменных  
плетней, - Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный  
конскими  
копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке;  
за ней -  
задернутая текучим маревом степь. С юга - меловая хребтина  
горы. На запад  
- улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак  
Мелехов

Прокофий. Из Туретчины привел он жену - маленькую,  
закутанную в шаль  
женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие  
одичалые глаза. Пахла  
шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры  
ее питали бабью  
зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и  
старик Мелехов  
вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая  
обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам  
пригородил базы  
для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную  
иноземку-жену.

Шел с ней за арбой с имуществом по хутору - высыпали на улицу  
все, от мала  
до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто  
перекликались  
бабы, орда невымытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он,  
распахнув  
чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в  
черной ладони  
хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую  
голову, - лишь  
под скулами у него пухли и катались желваки да промеж  
каменных, по  
всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане.  
Жил в  
своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него  
по хутору  
чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали,  
будто видели  
они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил  
жену до  
Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана,  
спиной к  
источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней  
рядом, и так

подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а

потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой.

Хутор терялся

в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за

разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия:

одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие - наоборот.

Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра,

сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за

накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка

попалась Прокофию последняя из никудышных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок,

торочила на проулке бабьей толпе:

- И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то

так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В

стану - перервать можно, как оса; глазюки - черные, здоровющие, стригеть

ими, как сатана, прости бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

- На сносях? - дивились бабы.

- Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

- А с лица-то как?

- С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, - небось не сладко на чужой

сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах.

- Ну-у?... - ахали бабы испуганно и дружно.

- Сама видала - в шароварах, только без лампасин. Должно, буднишные его

подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки

вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне...

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха

Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на

второй день троицы, перед светом, видала, как Прокофьева жена,

простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у

коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

- За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первым крикнул:

- Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батарец, по уличному прозвищу Люшня, стучал Прокофия головой о стену, уговаривал:

- Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю

втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты

не шуми, а то головой стену развалю!

- Тяни ее, суку, на баз!.. - гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки,  
другой рукой  
зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через  
сени и кинул  
под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревушие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу,  
сорвал со  
стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев.  
Кружа над  
головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с  
крыльца. Толпа  
дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню  
и сзади, с  
левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки,  
выламывавшие из  
плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое  
разведчиков,  
пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая  
кровью, неловко  
запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези  
мученически  
оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с  
трясущейся

головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу  
попискивающий  
комочек - преждевременно родившегося ребенка.

**Михаил Булгаков**

**Мастер и Маргарита**

...Так кто ж ты, наконец?

– Я – часть той силы,

что вечно хочет зла и

вечно совершает благо.

Гете. «Фауст»

**Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными**



Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Поньрев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попад в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым делом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью "Пиво и воды".

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера.

Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив

Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.

– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.

– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.

– А что есть? – спросил Берлиоз.

– Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.

– Ну, давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо

оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: "Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился.

Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ невероятно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: "Этого не может быть!...»

Но это, уввы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.

– Фу ты черт! – воскликнул редактор, – ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было, – он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали.

Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: "Ну-с, итак..." – повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора несколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнание с вопросом, по которому он собирался писать, – но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще

образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых "Анналов", где говорится о казни Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.

– Нет ни одной восточной религии, – говорил Берлиоз, – в которой, как правило непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

"Немец", – подумал Берлиоз.

"Англичанин, – подумал Бездомный, – ишь, и не жарко ему в перчатках".

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

– Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении... А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.

– Извините меня, пожалуйста, – заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, – что я, не будучи знаком, позволяю себе...

но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

"Нет, скорее француз..." – подумал Берлиоз.

"Поляк?.." – подумал Бездомный.

Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

– Разрешите мне присесть? – вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.



– Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил Берлиоз, – именно это я и говорил.

– Ах, как интересно! – воскликнул иностранец.

"А какого черта ему надо?" – подумал Бездомный и нахмурился.

– А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.

– На все сто! – подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.

– Изумительно! – воскликнул непрошенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал:

– Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в бога? – он сделал испуганные глаза и прибавил: – Клянусь, я никому не скажу.

– Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. – Но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

– Вы – атеисты?!

– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: "Вот прицепился, заграничный гусь!«

– Ох, какая прелесть! – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

– В нашей стране атеизм никого не удивляет, – дипломатически вежливо сказал Берлиоз, – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о божестве.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова:

– Позвольте вас поблагодарить от всей души!

– За что это вы его благодарите? – заморгав, осведомился Бездомный.

– За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, – многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно

обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

"Нет, он не англичанин..." – подумал Берлиоз, а Бездомный подумал:

"Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!" – и опять нахмурился.

– Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья спросил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?

– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может.

– Bravo! – вскричал иностранец, – bravo! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!

– Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу

могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: "Но, все-таки, кто же он такой? И почему так хорошо говорит по-русски?»

**Борис Пастернак**

**Доктор Живаго**

**ПЕРВАЯ КНИГА**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

**ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ**

**1**

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали:

«Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». – «Вот оно что. Тогда понятно». – «Да не его. Ее». – «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на

ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии оцепенения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетями холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

## 2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день

они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками

падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, то, что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

### 3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок, прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих,



которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома? Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебежали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер.

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

## **Венедикт Ерофеев**

### **Москва — Петушки**

#### **Поэма**

##### Уведомление автора

Первое издание «Москва-Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получил с тех пор много нареканий за главу «Серп и молот — Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «и немедленно выпил» следует полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «и немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился того, что все читатели, особенно девушки, сразу хватались за главу «Серп и молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «и немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы.

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись, или с похмельюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел — а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом — на Каляевской — другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, расслабляет душу. Со мной, почему-то, случилось наоборот, то есть, душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше — что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню — это я отчетливо помню — на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я попал в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (это чепуха: не вышел вчера — выйду сегодня). И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик — и так и уснул). Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей — а что и где я пил? И в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или же наоборот?

Что это за подъезд? Я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загородиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают — все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него —

все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес я на воздух.

Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — ничего. Вон — аптека, видишь? А вон — этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо. Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! О, иллюзорность бедствия! О, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше: паралича или тошноты? Истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего этого поровну, то в этом во всем чего же, все-таки, больше: столбняка или лихорадки?

Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы за коленки не задевали. И куда-нибудь, да иди. Все равно, куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал, если прямо — все равно на Курский вокзал, если направо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть.

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов. Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо — обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты — вот и получай свою суету...

— Да брось ты, — отмахнулся я сам от себя, — разве суета мне твоя нужна? Люди разве твои нужны? Вот ведь искупитель даже, и даже маме своей родной — и то говорил: «что мне до тебя?», а уж тем более мне — что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило...

— Конечно, Веничка, конечно, — кто-то запел в высоте так тихо-тихо, так ласково-ласково, — зажмурься, чтобы не так тошнило.

О! Узнаю! Узнаю! Это опять они!

«Ангелы господни! Это вы опять?»

— Ну, конечно, мы, — и опять так ласково!..

«А знаете что, ангелы?» — спросил я, тоже тихо-тихо.

— Что? — ответили ангелы.

«Тяжело мне...»

— Да мы знаем, что тяжело, — пропели ангелы. — а ты походи, походи, легче будет. А через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут...

«Красненького?»

— Красненького, — нараспев повторили ангелы господни.

«Холодненького?»

— Холодненького, конечно...

О, как я стал взволнован!..

«Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется. Вы же сами знаете, каково в моем состоянии ходить!..»

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

— А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..

«Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду, узнаю. Спасибо вам, ангелы...»

И они так тихо-тихо пропели:

— На здоровье, Веня...

А потом так ласково-ласково:

— Не стоит...

Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, — не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил... А когда ты их вчера купил? Вспомни... Иди и вспоминай...

Я пошел через площадь — вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался и застывал на месте — чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня посреди площади начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал. Так когда же

вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?